

Дружба
ародов

Височині В.
Стихи

1
—
1982





ВЛАДИМИР
ВЫСОЦКИЙ

«...Как корабли из песни»

Судьба поэта

Люди выбирают себе певца.
Кто знал, что этот выбор коснется коренастого паренька со светлой прядкой на лбу, с поднятым воротником сутуляющейся куртки?

Чуть помедленнее, кони,
Чуть помедленнее....

это великая песня и великая поэзия, где голос, отбросив гитару и смыв с губ бытовую усмешку, оторвавшись от пластинового диска «Мелодии», отдается высочайшему духу поэзии, стихии и правде страданий — не шансонье, а судьбу поэта слышим мы в ней.

Коль дожить не успел, так хотя бы допеть...
Чуть помедленнее...

Но кони несли, как несли его кони!
Для сельского сердца Есенина загадочной тягой были цилиндр и шик автомашины, для Высоцкого, сорванца города, такой же необходимостью на грани чуда стали кони и цветы с нейтральной полосы.

В нем нашла себя нота городских окраин, дворов, поспешно заасфальтированной России — та же российская есенинская нота, но не крестьянского уклада, а уже нового, городского. Поэтому так близок он и шоферу, и генералу, и актрисе — детям перестроенной страны.

Я встретил его впервые в 1965 году, когда «Таганка» ставила «Антимиры». Был он так, один из таганцев, вечно подростковой куртке своей, в арсенале его было пять-шесть песен. Но огромная затаившаяся энергия уже угадывалась в нем. Это было задолго до того, как вся страна томительно ворочалась, опутывая его, подобно Лакоону, магнитофонными пленками.

Но голос его уже хрип на ветру времени.

Когда пел он, за него страшно становилось: он бледнел исступленной бледностью, мукой было глядеть на него — казалось, не голос сорвется сейчас, горло перервется, он рвался изо всех сил, из всех сухожилий; в эти минуты он становился поэтом.

Стихи он читал не по-актерски, а как поэты читают — такова вся таганская школа, — не выстраивая смысл повествования, а выпевая интонационный нерв стиха, суть стиховой стихии.

Иногда мы выступали с ним на вечерах, он пел, я читал — особенно запомнился ревущий зал «Комаудитории» университета, куда он принес свои спортивные песни, — но это были вечера не песен, а поэзии, ибо за джинсовой курткой его уже стояла судьба поэта.

Повторяю, он был тих в жизни, добр и друзьям, деликатен, подчеркнуто незаметен в толпе, его все любили, что редко в актерской среде, но гибельность аккомпанировала ему, и не в переносном смысле, а в буквальном.

Дважды его реанимировали. Помню, однажды спас его врач Л. О. Баделян, самозабвенный друг поэзии. Высоцкий три минуты был «на том свете». Тогда я написал «Реквием» по нему. Его напечатала «Дружба народов».

О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.

Когда приезжала русая французская русалка, он просил меня читать ей эти стихи. Трудно писать еще о нем, такая муга слушать его диски — так жив он во всех нас. Смерть его просветила даже снобов. Многие нынче повернулись к нему, появилось много прекрасных стихов его памяти. Это хорошо. Хорошо, когда цветы ложатся на могилу, но как они нужны ему были при жизни! Неужто умереть надо, чтобы люди поняли и поверили?

Мать его, Нина Максимовна, сокрушенно рассказывает, что могилу его на Ваганькове постоянно обворовывают, мародеры снимают несметный урожай его цветов, может быть, мурлыча про себя его песни.

Художники наивны.

Высоцкий страстно, по-мальчишески мечтал напечататься. Он наивно хотел стать членом СП. Хотел свои певчие строфы, как птиц, запереть в металлическую сетку печатного шрифта. Удалось однажды напечатать его в «Дне поэзии». Сейчас сыплются его публикации, поройспешно составленные, но в них оживает мир певца. Он был тонко образован. Любил Бальмонта, В. Иванова, Мандельштама. Их культуру он наполнял живой нынешней речью.

Сколько писали о Гамлете!

Я — Гамлет. Холодаеет кровь...

И Блок, и Цветаева — их великие Гамлеты — маски духа. «Гамлет» Высоцкого — Гамлет изнутри, это исповедь поэта, работающего Гамлета, он пахнет потом профессии, житейской судьбой. Пастернак, переводя «Гамлета», задумывался над неким новым Гамлетом — уличным. Таким сыграл его Высоцкий — таганский Гамлет с гитарой.

По людскому обычаю на сороковой день после смерти я написал строки, ему посвященные:

Наверно, ты скоро забудешь,
как жил на краткой земле.
Ход времени не разбудит
оборванный крик шансонье.
Несут тебе свечки по хляби.
И дождик их тушит стучка.
На каждую свечку — по капле.
На каждую каплю — свеча.

Подобранные здесь редакцией «Дружбы народов» стихи — не обычные литературные произведения. Перед вами, дорогой читатель, куски жизни и судьбы Владимира Высоцкого. Будьте бережны и внимательны к ней.

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Из дорожного дневника *

Ожидание длилось,
а проводы были недолги.
Пожелали друзья:
«В добрый путь, чтобы все без помех».
И четыре страны
предо мной расстелили дороги,
и четыре границы
шлагбаумы подняли вверх.
Тени голых берез
добровольно легли под колеса,
залоснилось шоссе
и штыком заострилось вдали.
Вечный смертник — комар
разбивался у самого носа,
превращая стекло лобовое
в картину Дали.
И сумбурные мысли,
лениво стучавшие в темя,
вскользнулись во мне —
ну попробуй-ка останови.
И в машину ко мне
постучало военное время.
Я впустил это время,
замешанное на крови.
И сейчас же в кабину
глаза из бинтов заглянули
и спросили: «Куда ты?
На Запад? Вертайся назад...»
Я ответить не мог:
по обшивке царапнули пули.
Я услышал: «Ложись!
Берегись! Проскочили! Бомбят!»
И исчезло шоссе —
мой единственный верный фарватер.
Только елей стволы
без обрубленных минами крон.
Бестелесный поток
обтекал не спеша радиатор.

Стихи, отмеченные звездочкой, вошли в сборник В. Высоцкого «Нерв» (М. Изд-во «Современник». 1981).

Я за сутки пути
не продвинулся ни на микрон.
Я уснул за рулем.
Я давно разомлел до зевоты.
Ущипнуть себя за ухо
или глаза протереть?
Вдруг в машине моей
я увидел сержанта пехоты.
«Ишь, трофейная пакость,— сказал он,—
удобно сидеть».
Мы поели с сержантом
домашних котлет и редиски.
Он опять удивился:
«Откуда такое в войну?»
Я, браток,— говорит,—
восемь дней, как позавтракал в Минске.
Ну, спасибо, езжай!
Будет время, опять загляну...»
Он ушел на Восток
со своим поредевшим отрядом.
Снова мирное время
в кабину вошло сквозь броню.
Это время глядело
единственной женщиной рядом.
И она мне сказала:
«Устал? Отдохни — я сменю».
Все в порядке. На месте.
Мы едем к границе. Нас двое.
Тридцать лет отделяет
от только что виденных встреч.
Вот забегали щетки,
отмыли стекло лобовое.
Мы увидели знаки,
что призваны предостеречь.
Кроме редких ухабов,
ничто на войну не похоже.
Только лес молодой
да сквозь снова налипшую грязь
два огромных штыка
полоснули морозом по коже,
остриями — по мирному —
кверху, а не накренясь.
Здесь, на трассе прямой,
мне,
не знавшему пуль,
показалось,

что и я где-то здесь
довоевывал невдалеке.

Потому для меня
и шоссе, словно штык, заострялось,
и лохмотия свастик
болтались на этом штыке.

Мой Гамлет*

Я только малость объясню в стихе,
на все я не имею полномочий...
Я был зачат, как нужно, во грехе —
в поту и в нервах первой брачной ночи.

Да, знал я, отрываясь от земли:
чем выше мы, тем жестче и суровей;
я шел спокойно прямо в короли
и вел себя наследным принцем крови.

Я знал — все будет так, как я хочу.
Я не бывал в накладе и в уроне.
Мои друзья по школе и мечу
служили мне, как их отцы — короне.

Не думал я над тем, что говорю,
и с легкостью слова бросал на ветер.
Мне верили и так, как главарю,
все высокопоставленные дети.

Пугались насочные сторожа,
как оспою, болело время нами.
Я спал на кожах, мясо ел с ножа
и злую лошадь мучал стременами.

Я знал, мне будет сказано: «Царуй!»
Клеймо на лбу мне рок с рожденья выжег.
И я пьянял среди чеканных сбруй,
был терпелив к насилию слов и книжек.

Я улыбаться мог одним лишь ртом,
а тайный взгляд, когда он зол и горек,
умел скрывать, воспитанный шутом.
Шут мертв теперь... «Амины! Бедняга Иорик!»

Но отказался я от дележа
наград, добычи, славы, привилегий:
вдруг стало жаль мне мертвого пажа...
Я объезжал зеленые побеги.

Я позабыл охотничий азарт,
возненавидел и борзых, и гончих.
Я от подранка гнал коня назад
и плетью бил загонщиков и ловчих.

Я видел: наши игры с каждым днем
все больше походили на бесчинства.
В проточных водах по ночам, тайком
я отмывался от дневного свинства.

Я прозревал, глупея с каждым днем,
и — прозевал домашние интриги.
Не нравился мне век и люди в нем
не нравились. И я зарылся в книги.

Мой мозг, до знаний жадный, как паук,
все постигал: недвижность и движенье,
но толку нет от мыслей и наук,
когда повсюду им опроверженье.

С друзьями детства перетерлась нить.
Нить Ариадны оказалась схемой.
Я бился над словами «быть — не быть»,
как над неразрешимою дилеммой.

Но вечно, вечно плещет море бед.
В него мы стрелы мечем — в сито просо,

отсеивая призрачный ответ
от вычурного этого вопроса.

Зов предков слыша сквозь затихший гул,
пошел на зов — сомненья крались с тылу,
груз тяжких дум наверх меня тянул,
а крылья плоти вниз влекли, в могилу.

В непрочный сплав меня спаяли дни,
едва застыв, он начал расплзаться.
Я пролил кровь, как все. И, как они,
я не сумел от мести отказаться.

А мой подъем пред смертью — есть провал,
Офелия! Я тленья не приемлю.
Но я себя убийством уравнял
с тем, с кем я лег в одну и ту же землю.

Я Гамлет, я насилие презирал.
Я наплевал на датскую корону,
но в их глазах — за трон я глотку рвал
и убивал соперника по трону.

Но гениальный всплеск похож на бред.
В рожденье смерть проглядывает косо.
А мы все ставим каверзный ответ
и не находим нужного вопроса.

Ямщик

Я дышал синевой,
белый пар выдыхал...
Он летел, становясь облаками.
Снег скрипел подо мной,
поскрипев — затихал,
а сугробы прилечь завлекали.
И звенела тоска,
что в безрадостной песне поется,
как ямщик замерзал
в той глухой незнакомой степи...
Усыпив,
ямщика
заморозило желтое солнце.
И никто не сказал:
— Шевелись, подымайся, не спи!

Я шагал по Руси —
до макушек в снегу,
полз, катился,
чтоб не провалиться.
Сохрани и спаси!
Дай веселья в пургу!
Дай не лечь, не уснуть,
не забыться.
Тот ямщик-чудодей
бросил кнут и —
куда ему деться?! —
помянул о Христе,
ошалев от заснеженных верст.
Он, хлеща лошадей,

мог бы этим немного согреться...
Ну, а он в доброте их жалел,
и не бил,
и замерз.

Отраженье свое
увидал в полынье —
и взяла меня оторопь: в пору б
оборвать житие,
я по грудь во вранье!
Выпить штоф напоследок —
и в прорубь.
Хоть душа пропита —
ей там, голой, не выдержать
стужу.
В прорубь надо да в омут,
но — сам, а не руки сложа.
Пар валит изо рта...
Эх, душа моя рвется наружу!
Выйдет вся — склоните,
зарежусь — снимите с ножа.

Снег кружит над землей,
над страною моей.
Мягко стелет, в запой
зазывает...
Ах, ямщик удалой!
Пьет и хлещет коней!
А не пьяный ямщик замерзает...

Сначала было слово
печали и тоски.
Рождалась в муках творчества планета,
рвались от сухи в никуда
огромные куски
и островами становились где-то.

И, странствуя по свету,
без фрахта и без флага,
сквозь миллионолетья, эпохи и века,
менял свой облик остров,
отшельник и бродяга,
но сохранял природу и дух материка.

Сначала было слово,
но кончились слова.
Уже матросы землю заселяли,
и ринулись они по сходням
вверх на острова,
для красоты назвав их кораблями.

Но цепко держит берег,
надежней мертвой хватки,
и острова вернутся назад наверняка.
На них царят морские,
особые порядки,
на них хранят законы и честь материка.

Простит ли нас наука
за эту параллель,
за вольность толкований и теорий?
А если уж сначала было
слово на земле,
то это, безусловно, слово «море»!

И снизу лед, и сверху — маюсь между,
пробить ли верх иль пробуравить низ?
Конечно, всплыть и не терять надежды,
а там за дело в ожиданье виз.

Лед надо мною — надломись и тресни!
Я весь в поту, как пахарь от сохи.
Вернусь к тебе, как корабли из песни,
все помня, даже старые стихи.

Мне меньше полувека — сорок с лишним,
я жив,
двенадцать лет тобой и господом храним.
Мне есть что спеть, представ перед всевышним,
мне есть чем оправдаться перед ним...

Июнь 1980

Публикация МАРИНЫ ВЛАДИ